
ПИСЬМО К МОЛОДОМУ ПОЭТУ

(ИЗ ВИЛАНДА)

Перевод В. К. Кюхельбекера

Так, любезный друг: никому не избежать своего жребия! Ежели лавровый венок и темная келия Тасса, ежели нищенский конец и слава Камозэнса¹ должны быть и вашим уделом,— я ли, слабый смертный, перемену уставы Провидения?

Знаю вас и вижу, что быть поэтом, кажется, назначено вам самой судьбою. *Чувства* до того раздражительные, что, при легчайшем дыхании природы, приводят в тихий трепет всю вашу душу, как будто арфу Эолову, и, подобно эху, повторяют каждое впечатление, но чем далее, тем лучше и сладостней, пока не исчезнет оно мало-помалу; *память*, которая не утрачивает ничего, но вместе перетворяет все данное ей в те звучные начала, из коих вызывает фантазия новые волшебные свои создания; *воображение*, которое невольно дает идеальный образ всякому особенному предмету, дарует определенный вид всему отвлеченному и, не примечая того, всегда поставляет вместо знака самую вещь или ее близкое подобие словом; *воображение*, которое одаряет телом все духовное и очищает, облагоражива-

ет, превращает в душу все телесное; в самом еще младенчестве *любовь* постоянная ко всему чудесному, изящному и высокому как в мире физическом, так и в нравственном; *душа* теплая, воспламеняющаяся от всякого, даже самого малейшего, прикосновения, душа, которая, будучи вся любовь, чувство и участие, не может в природе представить себе ничего холодного и мертвого, ибо всегда готова сообщить от собственного богатства жизнь, ощущения и страсти всему окружающему; *сердце*, которое при всяком благородном поступке сильнее забьется, а при всяком малодушном и бесчувственном содрогнется с отвращением; сверх того, при врожденной ясности и беззаботности характера, неодолимая склонность к *размышлению* и к *исследованию самого себя*, неодолимое влечение предаваться мечтаниям и бродить в мире умственном; при самой веселой людкости и живой нежности в разделении удовольствий и огорчений других, любовь к уединению, к безмолвию лесов, ко всему, что питает тишину внутреннюю, разрешает оковы души и, освобождая ее от рассеяния, животворя сокровенную деятельность, облегчает ее парение.

Без сомнения, если все сие не предвещает грядущего поэта, если не довольно всего этого, чтоб уверить молодого человека, что сами музы наслали на него сие прелестное неистовство, сие состояние восторгов, от коего он столь же мало в состоянии освободить себя, как и Кумейская Сибилла...² Будьте спокойны, милый друг: признаю и уважаю неизгладимые черты, которыми сама природа ознаменовала вас и велела вам быть жрецом вдохновения! Чтобы исступление муз было прекрасно в своих действиях, необходимо одно только, по словам Платоновым: «Душа, воспламеняемая им, должна быть нежна и ничем не подкрашена!» Или я очень ошибаюсь, или вы оправдаете теорию нашего философа.

Конечно, страсть к какому-нибудь искусству не всегда бывает порукою способности; однако же все почти великие виртуозы, поэты, живописцы, обнаруживали в своей молодости непобедимую склонность к тому, в чем впоследствии соделались образцами и законодателями: на вас, милый друг, вижу, кажется, и сию печать избрания.

«Не могу вспомнить,— говорите вы,— не могу вспомнить времени, в которое бы не был поэтом. Врожденная

способность чувствовать музыку стихов, сладострастие, в котором утопал, читая вслух отрывки из лучших писателей, места, обработанные и мелодические, охота перечитывать другие, в коих, даже пробегая их только глазами, казалось, слышу, как будто бы отголосок пения муз,— все сие у меня предшествовало всякому учению, и таким образом я писал стихи и соблюдал все почти правила прежде, нежели имел какое-нибудь теоретическое понятие о просодии, падении стоп, поэтической полноте, звукоподражательной гармонии и подобном. С любовью к поэтам у меня с самого детства могла сравниться одна легкость, с кою понимал я их, один восторг, в коем исчезал, останавливаясь на прекрасных стихах и предаваясь по целым часам видениям, которые рождали они в душе моей. За моим Вергилием, за Галлером, Мильтоном и пятью первыми песнями Клопштоковой «Мессияды» я забывал игры и сон, весь свет и самого себя. Хотя и я, подобно Овидию, Ариосту, Тассу, Марино и другим славным стихотворцам, с самого младенчества находил в своих воспитателях сильное сопротивление моим склонностям, однако же природа одолела все их усилия; ничем, ни кроткими, ни строгими средствами, не могли изгнать гения или (если хотите) демона, обладавшего мною. Ежели я и переставал писать стихи, мои наставники, враги моей музыки, мало выигрывали. Все понятия и сведения, которыми старались обогатить меня, или входили в одно ухо и вылетали из другого, или превращались в материал для поэзии. Все, чем бы ни занимался я: метафизика, мораль, науки естественные, науки политические — все в уме моем принимало вид или эпоеи, или драмы. Учитель с важностию и таинственностию пророка начнет объяснять мне Лейбницову монадологию³, а я между тем думаю, как бы описать рождение Венеры из пены волн морских, или вижу, как у меня перед глазами оживляется Пигмалионова Элиза, или восхищаюсь высоким понятием, которое дает Орфеева Космогония⁴ о начале всего, и вижу, как любовь своей волшебною силою, подобно лире Амфионовой⁵, зиждет вселенную!»

Что скажу вам на столь сильные доказательства? Кажется слышу свою собственную историю: и со мною все сие было тому тридцать пять лет, и если, несмотря на то, я хотел бы удержать вас по сию сторону опасного Рубикона, на берегах коего находитесь, верьте, что не сомнение в ваших дарованиях заставляет меня желать сего!

Даже первые ваши произведения, о которых судите вы с такою осторожностью, подают о вас надежды самые блистательные, и тем более, что при необыкновенных дарованиях и при предварительных упражнениях, важных и продолжительных, вы столь мало еще довольны собою. Чего не ожидать от юноши, который, не будучи в состоянии уверять себя, что ему воздают одно только должное, нередко столько же обижается всякою похвалою, сколько бы иной не обиделся самим заслуженным порицанием! Не знаю вернейших признаков истинного таланта, как не сию трудность удовлетворить самому себе, как не беспрестанное стремление вперед, сие благородное презрение ко всему, чем уже владеешь, в сравнении с тем, что еще можешь приобрести, сие тонкое расположение чувствовать красоты других и собственные недостатки: свойства, которые вы столь часто обнаруживали и которыми столь редко владеют стихотворцы молодые и старые!

Вы удивитесь, любезный, но именно уверенность, что мать-природа точно из вас хотела образовать поэта и что вы, предавшись своей склонности, во всех отношениях будете поэтом и, следовательно, вовсе не способными ни к какому другому образцу жизни, сия самая уверенность принуждает меня трепетать за вас. Добрая мать думала обо всем, но забыла, к несчастью, одно,— что для пользы вашей должно было посоветоваться и с фортуною. Поэты не могут питаться одними благоуханиями цветов: тот, кто повелевает всеми духами и гениями, кому стоит только махнуть пером и перед ним пир великолепнейший, ближе других к голодной смерти, если только благодетельная фея не заменит того, чего ни природа, ни музы, ни сам он не в состоянии дать ему.

Вы будете всегда и везде поэтом во всех возможных обстоятельствах и случаях, во всех своих упражнениях, во всех радостях и горестях своего земного течения; всегда будете мыслить, чувствовать, говорить и поступать, как мыслит, чувствует, говорит и поступает только поэт; даже если в течение десяти лет не напишете вы ни одного стиха, все, что бы вы в сие время ни видели и ни слышали, все, на что бы ни покушались и чего бы ни испытали, все для вас поэзия или впоследствии будет поэзией; и по прошествии сего периода жизни вашей, по-видимому, потерянного для муз и вдохновения, вы в душе своей увидите столько начатков стихотворений всякого рода, что не успели бы

обработать их, достигнув даже Несторова или Бодмерова * долголетия.

Но вместе вы будете впадать в такие заблуждения, в которые может впадать только поэт; с самым счастливым умом, с самым лучшим сердцем вы беспрестанно будете являться в ложном свете глазам людей, вечно будете слышать жалобы и упреки, а вредить будете только одним себе, и, как бы ни желали и ни старались вы, никого не уверите, что вы существо доброе и незлобное, на вас не перестанут смотреть как на чудака, к образу мыслей, к образу жизни которого невозможно применить, как на человека, коего ум и сердечная доброта подлежат большому сомнению. Все сие набрасывает самую неприятную тень на жизнь того, кто одарен сим чудным талантом, которому вместе удивляются и завидуют, который в то же время и ласкают и ненавидят, гонят и презирают, но который дает столь дивные преимущества перед людьми обыкновенными, одаряет столь волшебною властью над их воображением и доставляет столь сладостные средства для собственного утешения.

Подобно всем рожденным для тихого наслаждения природою и для жизни в самом себе, вы вечно будете стараться, как бы пройти по земле скромною, незаметною стезею; но ненавистная известность, которой никак не избежите, навек отравит ваше спокойствие и прольет на все бытие ваше множество неприятностей, ничтожных, но тем более мучительных; они отнимут у вас и последнюю бедную отраду, отраду заблуждения: вы узнаете, что за все наслаждения, доставленные вами свету, вам и не думают отплачивать любовью!

Ваша страсть к музам во многом похожа на взаимную страсть двух пастушеских сердец: они, вместо всего прида-

* Бодмер, немецкий писатель, достигнувший глубокой старости, друг и благодетель юного Виланда и многих других современных молодых авторов. Достоинно примечания, что творец «Нового Амадиса», «Оберона», «Идриса и Зениды» и других романтических поэм, прекрасных, но не всегда благопристойных, в доме Бодмера отличался перед своими сверстниками стыдливостию и целомудрием; что, напротив, Серафимский, как называл его Бодмер, Клопшток, которого вызвал сей почтенный старик к себе в Швейцарию и к которому в его отсутствие питал уважение, близкое к обожанию, едва не разочаровал своего добродушного почитателя слишком пламенною привязанностью к земным прелестям швейцарских девушек. — *Прим. перев.* ⁶

ного, дарят друг друга несметным сокровищем нежности и в сладостной надежде, что любовь вечно будет кормить и поить их, не думают о заботах и нуждах житейских. Пламенный любовник совершенно уверен, что крытая соломой хижина, которую разделит с милою, лучше всех на свете мраморных палат и волшебных замков. Он утопает в океане восторгов, и для прочности счастья его нужна — безделица: очарование вечное.

Но, к сожалению, наступают часы, дни, месяцы, может быть, целые годы, когда фантазия, лишенная творческой силы своей, предает нас неприятному чувству настоящего или по своей обманчивости увеличивает зло, нас угнетающее, — в той же мере, в которой в счастливые мгновения увеличивала наши наслаждения. Однако же положим даже, что можно бы и не просыпаться самому из сих грез, обвораживающих нас, по манию фантазии. Нас окружают со всех сторон люди *добрые*, которые не рассеять нашего заблуждения почтут за смертный грех, которые не перестанут толкать нас, пока не разбудят; с вами случится то же, что с известным коринфским гражданином: счастливец, сидя перед пустою сценою, видел великолепнейшие представления, но родственники не устали лечить его и наконец вылечили.

Довольно одного этого, чтобы оправдать все, чего ни опасаясь, когда гляжу на путь, который вы готовы избрать себе. Истинный поэт к свету почти в том же отношении, в каковом находился бы владеющий философским камнем. И тот и другой, быть может, нашли бы средства наслаждаться счастьем, но могут ли надеяться, что утаят свое сокровище? Они должны быть уверены, что сыщут довольно способов наказать их за все преимущества, коими пользуются исключительно перед прочими *честными* людьми!

Впрочем, милый друг, если будущее благополучие ваше мне кажется подверженным столь многим опасностям, — лакомства и вина, червонцы, почести и знаки отличия, без сомнения, то, о чем думают всего менее. Нельзя знать, случится и вам наслаждаться сими суетными удовольствиями. Гораций обедал, когда только вздумается, за столом римских вельмож; живал, когда только захочет, в Меценатовом дворце или в роскошном его Тибуре и даже имел собственный свой сабиниум⁷, — словом, он не знал других неприятностей, кроме неразлучных с несчастием *быть первым лириком Рима*.

Но неприятности сии, которыми осыпали его и писатели и публика, однажды до того вывели его из терпения, что, несмотря на всю любовь свою к музам, он в минуту досады произнес против них ужаснейшее богохуление. «Хочу быть проклятым,— говорит он,— если не желаю лучше проспять весь свой век, нежели писать стихи!»

Прочтите, как описывает сей любезный поэт, который вместе был и гений, и человек ученый, и тонкий знаток света, прочтите, как описывает он в своих посланиях * стихотворческое житие-бытие; прочтите, если хотите, и то, что прибавил его новейший комментатор **, понимавший, кажется, своего автора лучше и живее многих, и сие по очень простой причине: потому что имел с ним почти одну и ту же участь. Не худо, когда уже на что решаешься, знать все то, чего можешь ожидать; не худо наперед расчислить, могут ли сбыться или нет надежды твои. Нечто более существенной хвалы, нечто более ничтожной известности, любовь моих сограждан, любовь тех, для коих пишу и стараюсь, наградит меня за все труды мои,— вот сладчайшая, может быть, между всеми мечтами, которые живут и окрыляют поэта-юношу при начатии поприща, конца коего дано достигнуть столь немногим из тысячей.

Любезный друг! Не ласкайте себя напрасным ожиданием. Минуты одобрения и мгновенные порывы восторга должны составлять верх ожиданий ваших. Почитайте себя с избытком награжденным, когда благоволим позволить вам увеселять нас. Как скоро же заметим, что вы ищите хвалы нашей, мы станем смотреть на вас, как на всех других забавников, какого бы рода они ни были, и с той поры,— сердитесь или нет,— а с той поры вы стоите для нас на одной доске с фокусниками, танцовщиками и фиглярами. Все ваши старания, чтобы достигнуть высшей степени совершенства в глазах наших, непрменная ваша обязанность, и горе вам, ежели когда перестанете превосходить самих себя или вздумаете успокоиться на своих лаврах!

Вы согласитесь, что это не слишком одобрительно. Но я вам не сказал всего еще: ваше положение в отношении

* Например, в 19 к Меценату и в 22 во второй книге к Юлию Флору.

** Сам Виланд.

к публике в самом деле гораздо еще невыгоднее. Об искусстве балансера, по крайней мере, всякий может судить довольно справедливо, он чудесит, и всякий более или менее в состоянии вообразить, сколько должен был употребить трудов и усилий, чтобы дойти до той степени совершенства, на которой его видим. С стихотворцем совершенно противное: между тысячью читателей едва ли найдется один, имеющий ясное и точное понятие о всех трудностях искусства и о том, что должно почитать венцом его. Обыкновенный читатель, обыкновенный слушатель, конечно, чувствует, возбуждают ли его любопытство или наводят ли на него зевоту; но сим он и ограничивается. А как произведение и очень посредственное, и очень небрежно написанное может возбуждать любопытство не менее творения образцового,— вы должны быть уверены, как скоро ваше сочинение утратит прелесть новизны, оно для толпы утратит и большую часть своей привлекательности, и всякий самый пустой роман, который бы имел сие достоинство, то есть был бы новым, в котором бы находилось хотя несколько острых слов, хотя несколько неожиданных положений, хотя одно трогательное место, хотя одно сладострастное изображение, овладеет, не сомневайтесь нисколько, овладеет всем вниманием публики и заставит, по крайней мере на время, забыть и вас, и ваше сочинение, и если бы даже при нем помогали вам все девять муз и все три грации.

Стремление к какому-нибудь идеальному совершенству не доставит вам того, что, по своим понятиям, по живому чувству всего, что исполнили вы, почитаете просто за дань строгой справедливости. Вы сей дани никогда не получите не потому, чтобы не желали быть к вам справедливыми, но потому, что не имеют и понятия о сведениях, необходимых для этого.

Если при всех прочих существенных свойствах хорошего стихотворения поэтическое произведение имеет еще то качество, которое предполагает Гораций, когда говорит, что стихи должны заключать в себе одно округленное и полное целое*, если оно с величайшей обработанностью сопрягает величайшую легкость, если в нем язык всегда чист, падение стоп всегда музыкально, рифма во всяком случае на своем месте и без принуждения, все как будто разом вылитое, как будто бы создано одним дуновением и

* Totum teres atque rotundum.

нет нигде следов ни труда, ни усилия,— мы не должны сомневаться, что таковое творение стоило творцу своему (как бы, впрочем, ни был велик талант его) неизъяснимых трудов, неизъяснимых усилий и терпения. Но не надейтесь, если вам удастся когда создать что-либо подобное, не надейтесь на признательность ваших читателей за все, в чем превзойдете их требования! «Мы довольствовались бы и меньшим!» — скажут вам, и ежедневная опытность доказывает, сколь сие справедливо. Во мнении толпы будут даже вредить вашему сочинению легкость, обработанность и полнота, которые вам стоили столь многого и которые, может быть, и оценит редкий знаток со всем надлежащим хладнокровием. «О, вы, верно, играючи, пишете стихи свои!» Вот комплимент, который услышите вы всего чаще. А как привыкли соразмерять почтение к произведению искусства с очевидными трудностями, в нем побежденными, к вам начнут показывать пренебрежение за то именно достоинство, которое одно доставит вам ваше собственное уважение. Может статься, вас и в самом деле станут читать с большим удовольствием, нежели ваших сверстников; но, полагая, что вам ничего не стоят пьесы ваши, от вас будут требовать нового, и не пересмотрев уже написанного.

Все сие столь естественно, столь обыкновенно, мой милый друг, столь давно и столь общепринято между всеми народами, что было бы даже смешно, когда бы вздумал кто на то жаловаться. Но тем не менее нельзя сказать, чтобы было оно слишком приятно. Придет время, и вы впадете, может быть, в искушение, не завидовать ли счастию всякого доброго крестьянина, который, имея не более нужного в домашнем ума природного, в поте лица своего ест хлеб свой насущный и тихими наслаждениями жизни безвестной, но мирно изливающейся в море минут и столетий, чрез меру вознагражден за лишение сомнительного преимущества быть известным по имени десяти тысячам, из коих, не зная ни жизни его, ни характера, каждый присваивает себе право судить о его недостатках и достоинствах.

Никогда бы не кончил я, если бы хотел исчислить все неприятности, ожидающие вас на стезе, которую избираете. Не сомневаюсь, что большая часть без того уже по слуху известна вам. Но не забудьте принять в рассуждение также и всю раздражительность, всю болезненную чувствительность, которые неразлучны с природою истин-

ного поэта. Тысячи вещей, тысячи случаев сами по себе ничтожны и ничего не значащи, но исполняют горестию *вашу* жизнь: для нервной системы, для воображения, для сердца *поэта* они будут тяжкими страданиями. Довольно одного злого, одного полоумного суждения, одного глупого взгляда, когда будете читать место, которое бы должно поразить ударом электрическим; довольно одного бессмысленного вопроса, и вы сделаетесь нечувствительными к общему единодушному одобрению остальной части ваших слушателей.

Ни слова уже о том, как станут обращаться с вами писатели, знатоки, рецензенты, судьи парнасские и проч. и проч. Уверен, что вы в рассуждении сих господ будете держаться Горациева правила, то есть будете обращаться на них как можно менее внимания! * Но ожидайте и судьбы его: втайне станут читать вас с удовольствием, в лице осыпать ласками, но в обществе при всяком случае подарят критическим пожатием плеч или двусмысленною улыбкою, и вы вправе будете хвалиться необыкновенным счастьем, если воздумают быть снисходительными и не скажут о вас ни слова. Редкий рядовой одними своими талантами и заслугами достигал степени маршала, но где найти автора, который бы не держался ни одной партии, не образовал последователей, не прибегал к покровительству парнасских законодателей своего времени, не принимал под свое собственное никого из новичков в словесной республике, готовых при всяком случае лягаться и грызться за своего благодетеля, где найти автора, который бы при всем том не был прикрываем щитом *золотой посредственности* и через одни собственные свои достоинства приобрел мирное стяжание известности и уважения между современниками? В свете, конечно, бывают иногда самые странные вещи, и нельзя знать, кто-нибудь один достигнет же и сей возжеленной цели: но кто ж из них может сказать, что ему именно на роду написано быть сим избранником?

Вообще, ежели далекая и решительная слава и сопряженные с нею выгоды составляют предмет желаний ваших, вы заранее готовьтесь встретить на своем пути все воз-

* Non ego ventosae plebis suffragia venor...
Non ego nobilium scriptorum auditor et ultor,
Grammaticas ambire tribus et pulpita dignor.

Epist. 19⁸

Можные препятствия и не думайте негодовать, когда под конец увидите, что вас предупредят люди, которые вместо того, чтобы устремиться по предназначенной стезе, перескочат через все ограды и с счастливою дерзостью захватят венок, коего бы никак не похитили в ристании правильном.

Беру в вас живейшее участие; вижу вас на пути, который, по всем вероятностям, ведет не ко храму благополучия, но при всем том слишком сам люблю искусство, которому при столь неоспоримых дарованиях хотите посвятить себя, чтобы некоторым образом не раскаиваться, что представил вам все сопряженные с ним неприятности. И как не предвидеть возражения, коими можете вмиг опровергнуть все, мною сказанное? Но я и не хочу испугать вас: хочу только, чтобы прежде нежели пуститесь в дорогу, которая является вам в столь привлекательном виде, вы рассмотрели все опасности, все горести, встречающиеся на ней.

Во время Горация поэзия случайным образом подавала иногда средства к улучшению своего состояния. Бедность, как сам признается, заставила его писать стихи. В наш век, кажется, совершенно противное: путь чрез Геликон⁹ у нас обыкновенно ведет прямо в объятия той одетой в лохмотья богини, от которой бежал Гораций. Вы доживете, может статься, другого, лучшего времени; но во всяком случае будьте готовы ко всему — даже к худшему. Вы не имеете большого расположения к Аристиповой философии: для вас это счастье, ибо вы ни за какие выгоды не станете кадить земным богам и раздавателям их милостей; узнайте самих себя, узнайте, в состоянии ли вы, на лоне музы вашей, быть счастливыми, если б даже пришлось на одних картофелях и одной ключевой воде.

Когда же, любезный друг, вы, по зрелом размышлении, останетесь при своем намерении, я требую от вас одного: не жалуйтесь никогда в своей жизни ни на зависть своих соперников, ни на равнодушие знатоков, ни на неблагодарность публики. Нет ничего в то же время и несправедливее и безрассуднее, как плакать о том, что все на свете так, как оно есть и было, и что мир, вместо того, чтобы обращаться вокруг нас, уносит нас самих, как ничтожную былинку, в своем вечном течении и даже не примечает того.

Начиная с первого до последнего, люди, окружающие нас, столь заняты самими собою и угнетены собственным жизненным бременем, столь много принуждены думать

о планах и нуждах своих и столь развлекаемых собственными страстями и наклонностями и мгновенными внушениями своего доброго или злого гения, что вовсе не должно удивляться, если они мало заботятся о нас, и, несмотря на то, всякий, кому бы ни помогли вы в крайности, кому бы ни сделали удовольствия вовремя, к стати и по его желанию, искренно станет благодарить вас. Но нельзя ли требовать признательности за то, о чем и не думали просить вас, в чем не чувствуют никакой необходимости? И ужели будете вы вправе негодовать, если обойдутся с вами холодно, когда вздумаете насильно сделать кого своим слушателем! Как вы хотите, чтоб обращали такое же внимание, как мы, на то искусство, которому отдаем свою жизнь и в котором, напротив, они, может быть, никогда и нигде не почувствуют потребности? Позволено ли даже предполагать, чтоб имели они столь же опытный слух для стихотворной музыки, столь же разборчивую любовь к прелестям поэтической живописи?

По самой природе вещей простой любитель много теряет в произведениях вкуса, искусства и остроумия; но из сего не следует, что публика несправедлива к великим писателям и образцовым творениям их; посмотрите, каким образом иногда принимает она самые даже посредственные порождения; пусть будут они написаны без всякой обработки и без малейшего старания, читатели довольны, когда только найдут что-нибудь заманчивого! Они ищут наслаждения, ищут пищи для своего любопытства и столь любят разнообразие, что автор должен быть совершенно вял и дурен, ежели ему вовсе не удастся быть замеченным, быть (хотя на время) отличенным от толпы своих сверстников. В самом легком роде, в котором нет ничего поэтического, кроме рифмы и живости слога, писатель может обратить на себя внимание своих соотечественников: для сего ему нужно одно только остроумие, необходимы одни только вдохновения мгновенной веселости.

Итак, милый друг, употребите только с своей стороны все силы и способности, вам данные. Заслужите всеобщее одобрение, и вам не откажут в нем. Возвысьтесь над толпою; не довольствуйтесь целию обыкновенных усилий; обогатите словесность такими произведениями, которые привлекали бы не одно мгновенное внимание, но могли бы овладеть всею душою читателя, приводили бы в движение все его органы, согревали, очаровывали, пленяли бы непрерывным обаянием воображение, питали бы душу

и доставляли бы сердцу сладостное наслаждение своею жизнью нравственною, своими лучшими чувствованиями; возбудите участие в радостях и горестях ближнего, возбудите удивление ко всему благородному, изящному, высокому в природе человеческой и будьте уверены, что будут к вам признательны, если только сами не перестанете быть справедливыми в требованиях на благодарность общую. Не горькая опытность заставила говорить меня: мои советы были не жалобы. Во всех возможных обстоятельствах мы, наверно, встретим какие-нибудь страдания или действительные, или воображаемые, проистекающие из самой природы или сотворенные именно нами: конечно, в первую минуту самая даже малейшая боль, неожиданная, может вынудить крик из груди всякого; но кто же станет рыдать и плакать, когда носит зло общее, неизбежное и по сему самому многое? *Quisque suos patimur manes* *. Вы видите: мне не нужно было вспомнить о собственном своем горе, чтобы рассуждать о том, что испытывали литераторы во всякое время и у всех народов.

Вы знаете, мой милый друг, сколь во всех отношениях доволен я своим жребием. С молодых лет я более любил самое искусство, нежели что обыкновенно называют счастьем и славою. Признаюсь, что неподложное чувство немногих благородных душ, что нежданное, добродушное спасибо одного какого-нибудь беспристрастного мне всегда были драгоценнее холодного одобрения холодных знатоков или громкого рукоплескания толпы суетной. Однако же в течение более нежели тридцати лет я не имел недостатка и в сих знаках благосклонности читающего света. Но не хочу присвоить себе достоинство, которого не заслуживаю,— посветив большую часть своей жизни служению Аполлона, я думал более о самом себе, нежели о других, и говорил одну правду, когда за сим уже пятнадцать лет в совершенном удалении от германского Парнаса обращался к музе своей.

Что нужды на себя приманивать вниманье
Завистливой толпы и гордых знатоков?
О муза, при труде, при сладостном мечтанье
Ты много на мой путь рассыпала цветов!
Вливая в душу мне и жар и упованье,
Мой гений от зари младенческих годов,
Поешь, и не другой, я сам тебе внимаю,
И грусть, и суету, и славу забываю!¹⁰

* Каждый терпит своих покойников (лат.). — *Ред.*

Уверен, что сей образ мыслей рано или поздно будет вашим; итак, мне остается одно утешение: у вас в груди таковой источник благополучия, который усладит все горести вашей жизни, удвоит все ваши наслаждения и, иссыхая даже, оставит для душевных ран ваших хотя несколько капель чарующего нектара.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СТАТЬИ ЗАПАДНЫХ КРИТИКОВ В ПЕРЕВОДЕ И ОБРАБОТКЕ ДЕКАБРИСТОВ

ПИСЬМО К МОЛОДОМУ ПОЭТУ...

Впервые — «Сын отечества», 1819, № 45, ч. 57, 193—216;
№ 46, с. 262—269.

Кюхельбекер перевел первое из трех писем Виланда к молодому поэту. Оригинал опубликован в журнале «Der Deutsche Merkur», 1782, № 8, позднее неоднократно переиздавался с небольшой авторской

правкой. Кюхельбекер исключил те части письма, которые, как уже говорилось (см. вступительную статью к наст. изд.), были непосредственно обращены к немецкому читателю. Если Виланд пишет: «Может быть, вы доживете до лучшего времени для немецких муз...» то Кюхельбекер переводит: «Вы доживете, может статься, другого, лучшего времени... Кюхельбекер очищает текст от выражений, которые обличали в Виланде воспитанника рационалистического века и т. д.

¹ Т. Тассо провел много лет в заключении, Л. Камюэнс умер в бедности.

² Сибиллами (или сивиллами) назывались в Древней Греции странствующие пророчицы. Сивилла, к которой обращались за предсказаниями, должна была ждать, пока на нее найдет вдохновение. Считалось, что лишь в состоянии экстаза, истерии ей открывалось будущее.

³ Философское учение, разработанное немецким философом Г. Лейбницем, по которому пространство и время есть лишь обозначение существования извечного ряда простейших неделимых (монад). Здесь — синоним научной абстракции.

⁴ Космогония — наука о происхождении небесных тел и систем. Орфеева космогония — символ неисчерпаемой мудрости, заложенной в искусстве.

⁵ Амфион — сын Зевса, обладавший божественным даром игры на кифаре.

⁶ Словно мимоходом оброненная в этом примечании мысль о том, как меняется поэт, если его требует «к священной жертве Аполлон», станет одной из основных, когда Кюхельбекер будет писать «Отрывок из путешествия по полуденной Франции». Но там речь пойдет уже не о Бодмере, не о Клопштоке, а о поэте вообще, о свойствах его натуры. Именно там Кюхельбекер вновь и наиболее определенно ответит на вопрос, почему поэты «нередко писали иначе, нежели жили».

⁷ Сабиниум — так называлось имение Горация, находившееся области Сабиния, северо-восточнее Рима.

⁸ Цитируется Гораций. Послание 19 («К Меценату»): «Я охочусь совсем за успехом у ветреной черни... Слушатель я и поборник писателей славных; считаю Школы словесников все обходить для себя недостойным». (Перевод Н. Гинцбурга.)

⁹ Гора в Греции, обитель муз, символ поэтического вдохновения.

¹⁰ Цитируется поэма Виланда «Идрис и Ценида» (песнь II).